

Николай Лесков

Островитяне



Николай Лесков

Островитяне

«Public Domain»

1866

Лесков Н. С.

Островитяне / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1866

«...Очень давно когда-то всего на несколько минут я встретил одно весьма жалкое существо, которое потом беспрестанно мне припоминалось в течение всей моей жизни и теперь как живое стоит перед моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посиневшая от мокроты и стужи девочка на высоких ходулях. В тот день, когда я увидел этого ребенка, в Петербурге ждали наводнения; с моря сердито свистал порывистый ветер и носил по улицам целые облака холодных брызг, которыми раздобывался он где-то за углом каждого дома, но где именно он собирал их – над крышей или за цоколем – это оставалось его секретом, потому что с черного неба не падало ни одной капли дождя...»

© Лесков Н. С., 1866

© Public Domain, 1866

Содержание

Глава первая	8
Глава вторая	10
Глава третья	12
Глава четвертая	17
Глава пятая	21
Глава шестая	25
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Николай Лесков

Островитяне

*Овцы царя Авгваса не вместе, в стадах разделенных, —
В кругах разных пасутся; одни по долинам
Вдоль берегов Элизента, другие у вод освященных
Старца Алфея, иные по злачным Бупроза вершинам,
Прочие в здешних окрестностях. Каждое стадо
Вечером с пастбищ собрать нам в овчарни отдельные надо.*

Идиллия Феокрита.

Очень давно когда-то всего на несколько минут я встретил одно весьма жалкое существо, которое потом беспрестанно мне припоминалось в течение всей моей жизни и теперь как живое стоит перед моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посиневшая от мокроты и стужи девочка на высоких ходулях. В тот день, когда я увидел этого ребенка, в Петербурге ждали наводнения; с моря сердито свистал порывистый ветер и носил по улицам целые облака холодных брызг, которыми раздобывался он где-то за углом каждого дома, но где именно он собирал их – над крышей или за цоколем – это оставалось его секретом, потому что с черного неба не падало ни одной капли дождя. В этот ненастный, холодный день она вышла на грязный мощный двор из-под черной арки ворот в сопровождении еще более ее изнеможенного итальянского жида, который находился с нею в товариществе по добыванию хлеба, и в сопровождении целой толпы зевак, с утра бродивших для наблюдения, как выступают из берегов Лиговка, Мойка и Фонтанка. Бледный, чахоточный жид, сгибаясь в три погибели, нес покрытую клеенчатым чехлом шарманку; праздные люди гордо несли на своих лицах спокойную тупость бессмыслия. Девочка на ходулях была самым замечательным лицом во всей этой компании и с помощью своих ходуль возвышалась наглядным образом надо всеми. По силе производимого ею впечатления с нею не мог соперничать даже ее товарищ, хотя это был экземпляр, носивший, кроме шарманки, чахотку в груди и следы всех страданий, которыми несчастнейший из жидов участвует с банкиром Ротшильдом в искуплении грехов падшего племени Израиля. Во-первых, девочка была богиней: на ней был фантастический наряд из перемятой кисеи и рыжего плиса; все это было украшено гирляндами коленкорových цветов, позументом и блестящими; а на ее высоком белом лбу лежала блестящая медная диадема, придававшая что-то трагическое этому бледному профилю, напоминавшему длинный профиль Рашели, когда эта пламенная еврейка одевалась в костюм Федры. Нет сомнения, что вошедшая на ходулях девочка тоже должна была воплощать в себе понятие о каком-то трагическом величии. Она вошла твердо и спокойно поступью, и когда сопровождавший ее жид завертел свою шарманку, она запела:

В Нормандии барон,
Большой любитель псов,
Жил с деревенской простотою.

В ее голосе, которым она пропела эту рыцарскую песню, было столько же скромной твердости, сколько в ее тихом шествии на ходулях; но эта рыцарская песня не нашла сочувствия ни в ком, кроме одной слабонервной дворняжки, начавшей подвывать певице самым раздражающим голосом и успокоившейся только после пинка, отпущенного ей сострадательным прохожим.

Несравненно более общего внимания у зрителей девочка встретила тогда, когда она плясала перед ними на ходулях какой-то импровизированный *matelot*.¹ Я видел, как при самом начале этого танца все самые тупые лица осклабились и праздные руки бессмысленно зашевелились, а когда девочка разошлась и запрыгала, каждую секунду рискуя поскользнуться и, в самом счастливом случае, только переломить себе ногу, публика даже начинала приходить в восторг. Из всех людей, стоявших на дворе, и из всех глазевших на эту пляску в окна лишь одно мрачное лицо еврея упорно хранило свое угрюмое выражение, да еще было спокойно лицо самой танцовки. Черные глаза жида то обходили дозором окна всех окружающих двор пяти этажей, то с ненавистью и презрением устремлялись на публику партера, вовсе и не помышлявшую достать из Кармана медный грош на хлеб голодному искусству.

– Если бы она плясала в длинном платье, она бы по крайней мере вымела бы мне двор, – проговорил присутствовавший в партере дворник.

Дворник сделал именно такое заключение, какое он должен сделать: «собаке снится хлеб, а рыба – рыбаку». Естественней этого ничего быть не может.

По мановению дворника прежде всех и проворнее всех поспешила исчезнуть под аркою ворот заходящая публика, наслаждавшаяся *par grâces*² всеми вокальными и хореографическими талантами девочки на ходулях; за публикой, сердито ворочая большими черными глазами в просторных орбитах, потянул, изнемогая под своей шарманкой, чахоточный жид, которому девочка только что успела передать выкинутый ей за окно пятак, и затем, уже сзади всех и спокойнее всех, пошла сама девочка на ходулях. Она удалялась в том же спокойном и гордом молчании, с которым входила назад тому несколько минут на этот двор, но из глаз моих до сих пор не скрывается ее бледный спокойный лоб, ее взор гордый и профиль Рашели, этой царственной жидовки, знавшей, с нею умерший секрет трогать до глубины онемевшие для высокого чувства сердца буржуазной Европы. Память моя в своих глубочайших недрах сохранила детский облик ходульной плясуньи, и сердце мое и нынче рукоплещет ей, как рукоплескало в тот ненастный день, когда она, серьезная и спокойная, не даря ни малейшего внимания ни глупым восторгам, ни дерзким насмешкам, плясала на своих высоких ходулях и ушла на них с гордым сознанием, что не даровано помазанья свыше тем, кто не почувствовал драмы в ее даровом представлении.

Я никогда ни одного слова не рассказывал о том, как приходила эта девочка и как она плясала на своих высоких ходулях, ибо во мне всегда было столько такта, чтобы понимать, что во всей этой истории ровно нет никакой истории. Но у меня есть другая история, которую я вознамерился рассказать вам, и эта-то история такова, что когда я о ней думаю или, лучше сказать, когда я начинал думать об одном лице, замешанном в эту историю и играющем в ней столь важную роль, что без него не было бы и самой истории, я каждый раз совершенно невольно вспоминаю мою девочку на ходулях. И так как они не разлучались в голове моей и глядели на меня обе, когда я думал только об одной из них, то я не хочу разлучать их перед твоими глазами, читатель. Тебе было б жалко, как они заплакали бы, заплакали бы разлучаясь, эти милые дети.

Я лучше желаю, чтобы в твоём воображении в эту минуту пронеслось бледное спокойное личико полуробенка в парчовых лохмотьях и приготовило тебя к встрече с другим существом, которое в наш век, шагающий такой практической походкой, вошло в жизнь, не трубя перед собою, но на очень странных ходулях, и на них же и ушло с гордым спокойствием в темную, неизвестную даль.

Маничка Норк! Где бы ни была ты теперь, восхитительное дитя Васильевского острова, по какой бы далекой земле ни ступали нынче твои маленькие, слабые ножки, какое бы солнце

¹ Матлот (*франц.*)

² Бесплатно (*франц.*)

ни грело твое хрустальное тело – всюду я шлю тебе мой душевный привет и мой поклон до земли. Всюду я шлю тебе, незлобный земной ангел, мою просьбу покорную, да простишь ты мне, что я решаюсь рассказать людям твою сердечную повесть. Протяни мне твои маленькие прозрачные ручки; дохни на эти строки твоим чистым дыханием и поклонись из них своей грациозной головкой всему широкому миру божьему, куда случай занесет неискusstный рассказ мой про твою заснувшую весну, про твою любовь до слез, про твои горячие, пламенные восторги! И чувствует сердце мое, что дошла до тебя моя просьба; я слышу откуда-то, из какого-то сурового далека твой благословляющий голос, вижу твою милую головку, поэтическую головку Титании, мелькающую в тени темных деревьев старого, сказочного леса Оберона, и начинаю свой рассказ о тебе, приснопамятный друг мой.

Глава первая

Я обязан представить вам героиню моей повести и некоторых лиц ее семейства. Маничка Норк была петербургская, василеостровская немка. Ее мать, Софья Карловна Норк, тоже была немка русская, а не привозная; да и не только Софья Карловна, а даже ее-то матушка, Мальвина Федоровна, которую лет пятнадцать уже перекачивают по комнатам на особо устроенном кресле на высоких колесцах, так и она и родилась и прожила весь свой век на острове. Отца своего Маничка Норк не помнила, потому что осталась после него грудным ребенком: он умер, когда еще старшей Маниной сестре, Берте Ивановне, шел всего только шестой год от роду. Софья Карловна Норк овдовела в самых молодых годах и осталась после мужа с тремя дочерьми: Бертой, Идой и Марьей, или Маней, о которой будет идти начинающийся рассказ. Муж Софьи Карловны, Иоган-Христиан Норк, был по ремеслу токарь, а по происхождению петербургский немец. Он был человек пунктуально верный, неутомимо трудолюбивый и безукоризненно честный. Работая всеми этими качествами, Иоган-Христиан Норк за сорок лет неусыпного труда успел сгношить себе кое-какую копейку и, отходя к предкам, оставил своей верной подруге, Софии Норк, кроме трех дочерей и старой бабушки, еще три тысячи рублей серебром государственными кредитными билетами и новенькое токарное заведение. София Норк, схоронив мужа, не опустила ни головы, ни рук. Оплавав свою потерю, она стала думать, как ей прожить с детьми своей головою. Софья Карловна была в состоянии это обдумать, потому что у нее от природы был ясный практический смысл и она знала свое маленькое дело еще при муже. Еще и ему она была серьезною помощницею. Не говоря о том, что она была хорошей женой, хозяйкою и матерью, она умела и продавать в магазине разные изделия токарного производства; понимала толк в работе настолько, что могла принимать всякие, относящиеся до токарного дела заказы, и – мало этого – на окне их магазина на большом белом листе шляпного картона было крупными четкими буквами написано на русском и немецком языках: *здесь починяют, чистят, а также и вновь обтягивают материей всякие, дождевые и летние зонтики*. Это было уже собственное производство Софьи Карловны, которым она занималась не по нужде какой крайней, а единственно по страстной любви своей к труду и из желания собственноручно положить хоть какую-нибудь, хоть маленькую, хоть крохотную лепту в свою семейную корвану. Результаты, однако, скоро показали, что лепта, добываемая Софьею Карловною через обтягивание материей всяких, дождевых и летних, зонтиков, совсем и не была даже такую ничтожною лептою, чтобы ее не было заметно в домашней корване; а главное-то дело, что лепта эта, как грош евангельской вдовицы, клалась весело и усердно, и не только радовала Иогана-Христиана Норка при его счастливой жизни, но даже помогала ему и умереть спокойно, с упованием на бога и с надеждой на Софью Карловну.

– Софья! – говорил он, мучительно борясь со смертью, – дети... я на тебя... на тебя надеюсь...

– О, мой Иоганус! – отвечала, рыдая, Софья Карловна.

– Маньхен... – продолжал, хрипя, умирающий, – береги ее... мою горсточку... мою маленькую...

– О, всех! всех, мои Иоганус! – отвечала опять Софья Карловна, и василеостровский немец Иоган-Христиан Норк так спокойно глядел в раскрывавшиеся перед ним темные ворота сени смертной, что если бы вы видели его тихо меркнувшие очи и его посиневшую руку, крепко сжимавшую руку Софьи Карловны, то очень может быть, что вы и сами пожелали бы пред вашим походом в вечность услышать не вопль, не вой, не стоны, не многословные уверения за тех, кого вы любили, а только одно это слово; одно ваше имя, произнесенное так, как произнесла имя своего мужа Софья Карловна Норк в ответ на его просьбу о детях.

Но дороже всего не то, что Софья Карловна умела хорошо сказать это слово; это, конечно, важно было только для умиравшего, а для оставшихся жить всего важнее было, что всю музыку этого слова она выдержала.

Токарное производство мужа после его смерти у Софьи Карловны не прекратилось и шло точно так же, как и при покойнике, а на другом окне магазина, в *pendant*³ к вывеске о зонтиках, выступила другая, объявлявшая, что *здесь чистят и переделывают соломенные шляпы, а также берут в починку резиновые калоши и клеят разбитое стекло*. Прошел год, два, пять лет, – вывески эти неизменно оставались на своих местах; Софья Карловна неизменно содержала то же самое заведение и исправно платила деньги за ту же самую квартиру на Большом проспекте. В это время дети подросли, бабушка совсем выжила из века, хотя, впрочем, все-таки по-прежнему ездила в своем колесном кресле, а Софья Карловна все трудилась, трудилась без отдыха, без сторонней помощи и вся жила в своих детях. Берта и Ида ходили в немецкую школу и утешали мать прекрасными успехами; любимица покойника, Маньхен, его крохотная «горсточка», как называл он этого ребенка, бегала и шумела, то с сафьянным мячиком, то с деревянным обручем, который гоняла по всем комнатам и магазину.

«О, мой Иоганус!» – думала Софья Карловна, вздыхая и уныло глядя на резвившегося ребенка.

– О, мой милый Иоганус! – говорила она вслух, ловя убегающую Маньхен и прижимая девочку к своему увядшему плечу, откуда трудовой пот давно вытравил поцелуи истлевшего Иогануса, но с которыми, может быть, не хотела расставаться упрямая память.

Так опять шли годы. Состояние Норк, благодаря неусыпным трудам матери, не расстраивалось; фрейлейн Берта «отучилась» в школе и прямо со скамьи сделалась невестой некоего Фридриха Шульца, очень хорошего молодого человека, служившего в одной коммерческой конторе и получавшего большое содержание. Приданым за Бертой Ивановной пошли: во-первых, ее писаная красота и молодость, а во-вторых, доброе имя ее матери, судя по которой практичный Фридрих Шульц ждал найти доброе яблочко с доброго дерева. Берта его не обманула. Вторая девица Норк, Ида Ивановна, только что доучилась; а одиннадцатилетнюю Маничку только отвели в школу.

³ Т. е. в пару (*франц.*).

Глава вторая

В народных сказках наших часто сказывается, что из трех детей, рожденных от одних и тех же родителей, третий, самый младший, задается либо всех умнее, либо всех сильнее, либо всех счастливее и удачливей. Ходя по русской земле, зашла эта сказка и в семью покойного русского немца Иогана Норка. Маня была дитя совершенно, что говорят, «особенное», какое-то совсем необыкновенное. Умна и пытлива она была необычайно; доброте и чистосердечию ее не было меры и пределов: никто в целом доме не мог припомнить ни одного случая, чтобы Маничка когда-нибудь на кого-нибудь рассердилась или кого-нибудь чем-нибудь обидела. Все знавшие этого ребенка удивлялись на него и со страхом говорили: ох, она не будет жить на свете!

– Нет, нет и нет, – настаивала старая русская кухарка Норков, – что наша барышня, Марья Ивановна, не жилец на этом свете, так я за это голову свою дам на отсечение, что она не жилец. Кухарке головы не отрубили, и Маша росла на общую семейную радость и утешение.

Для матери и рассыпавшейся пеплом бабушки этот ребенок был идиолом; сестры в ней не слышали души; слуги любили ее до безумия; а старый подмастерье Норка, суровый Герман Верман, даже часто отказывал себе в пятой гальбе пива единственно для того только, чтобы принести завтра фрейлейн Марье хоть апельсин, хоть два пирожных, хоть, наконец, пару яблок. Одним словом, Маня была домашний идол в полном значении этого слова. Одно только в ней сызрана начало тревожить ее мать и бабушку – это какой-то странный необъяснимый для них перелом в ее характере, подготовленный, конечно, ее слишком ранним развитием и совершившийся на девятом году ее детской жизни. Перелом этот выразился тем, что неудержимая резвость и беспечная веселость Мани вдруг оставили ее, словно отлетели: легла спать вечером одна девушка, встала другая. Думали, что она больна, попробовали полечить – ничего не помогло; добивались у нее, не видала ли она чего-нибудь необыкновенного во сне, – это стало сильно досаждать девочке, она расстроилась и заплакала. Ее оставили в покое, думая, что это она так загрустила и что это непременно пройдет. Опять ошиблись: ни игры, ни шалости больше не манили к себе Маню – возвратить ее к ним не было никакой возможности. Маня, которую, щадя ее слабое здоровье, долго не сажали за книжку, вдруг выучилась читать по-немецки необыкновенно быстро; по-русски она стала читать самоучкой без всякого указания. С этих пор ее нельзя было разлучить с книгою. Ручным работам она училась усердно и понятиливо, но обыкновенно спешно, торопливо кончала свой урок у старой бабушки или у старшей сестры и сейчас же бежала к книге, забивалась с нею в угол и зачитывалась до того, что не могла давать никакого ответа на самые простые, обыденные вопросы домашних. Ни веселого хохота, ни детских игр не знала с этих пор Маня; все те, небольшие конечно, удовольствия, которые доставляла ей мать, она принимала с благодарностию, но они ее вовсе не занимали. Чтение развивало в ней страшную впечатлительность, которая обратила на себя серьезное внимание родных только после следующего случая. Взяла ее замужняя сестра один раз в театр на «Уголино», и сама была не рада с нею ни спектаклю, ни жизни. Маня разрыдалась в ложе и после того шесть недель вылежала в нервной лихорадке. Каждую почти ночь во время болезни она срывалась с кровати, плакала и кричала:

– Съешьте меня! Меня, меня съешьте скорей!

Впечатлительности девочки стали бояться серьезно. Ее старались удалять от всего, что могло, по соображению родных, сильно влиять на ее душу: отнимали у нее книги, она безропотно отдавала их и, садясь, молчала по целым дням, лишь машинально исполняя, что ей скажут, но по-прежнему часто невпопад отвечала на то, о чем ее спросят. Родные теряли голову с этой восприимчивостью Маши. Как тщательно они ни берегли ее, невозможно же все-таки было удалить ее от всего, что различными путями добивалось в ее душу, с чем говорило ее

чуткое сердечко. Оно говорило с визгливою песнью русской кухарки; с косящимся на солнце ощипанным орлом, которого напоказ зевакам таскал летом по острову ощипанный и полуголодный мальчик; говорило оно и с умными глазами остриженного пуделя, танцующего в красном фраке под звуки разбитой шарманки, – со всеми и со всем умело говорить это маленькое чуткое сердечко, и унять его говорливость, научить его молчанию не смог даже сам пастор Абель, который, по просьбе Софьи Карловны Норк, со всех решительно сторон, глубокомысленно обсудил душевную болезнь Мани и снабдил ее книгами особенного выбора.

Глава третья

Мое знакомство с семейством Норк началось в гораздо позднейшую эпоху, чем Манино детство, и началось это знакомство довольно оригинальным образом и притом непосредственно через Маню.

Дело это-таки, впрочем, уж было давненько. Жил я тогда на Васильевском острове, неподалеку от известной немецкой школы. Один раз летом возвращался я откуда-то из-за Невы; погода была ясная и жаркая; но вдруг с Ладоги дохнул ветер; в воздухе затряслось, зашумело; небо нахмурилось, волны по Неве сразу метнулись, как бешеные; набежал настоящий шквал, и ялик, на котором я переправлялся к Румянцевской площади, зашвыряло так, что я едва держался, а у гребца то одно, то другое весло, не попадая в воду и сухо вертясь в уключинах, звонко ударялось по бортам. Кое-как я перебрался на свой остров и чуть только ступил на берег, как хлынул азартнейший холодный ливень; ветер неистово засвистал и понесся вдоль линий; крупные капли били как градины; душ был необыкновенный. Я бросился бежать, как поспевали ноги, словно ребенок, преследуемый страшными привидениями, и, влетев на свой подъезд, совсем было сбил с ног спрятавшихся здесь от дождя двух молоденьких девочек. Обе они были мокрехоньки и робко жались у стенки. На обеих на них были коричневые люстриновые платица и черные переднички с лифами и гофрированными черными же обшивками. Поверх платица на одной из девочек, чернозамазенькой и востролиценькой брюнеточке, была надета пестрая шерстяная тальмочка, а на другой, которую я не успел разглядеть сначала, длинная черная тальма из легкого дамского полусукна. На голове первой девочки была швейцарская соломенная шляпа с хорошенькими цветами и широкой коричневой лентой, а на второй почти такая же шляпа из серого кастора с одной черной бархаткой по тулье и без всякой другой отделки. У обеих на руках висели зеленые шерстяные мешочки, в которых сквозь взмокшую материю ясно обрисовывались корешки книг и пинали.

– Бедные две девочки, как тут приютились у нас на подъезде! – сказал я, представляясь в виде Язона мутным очам добродетельнейшей в мире чухонки Эрнестины Крестьяновны, исправлявшей в моей одинокой квартире должность кухарки и камердинера и называвшей, в силу многочисленности лежавших на ней обязанностей, свое единственное лицо собирательным именем: *прислуги*.

– О мейн гот! Дас ист шрекlich!⁴ – заговорила моя «прислуга».

– Да, – говорю, – позвать бы их к нам, Эрнестина Крестьяновна, чтоб не простудились они там стоячи мокрые на сквозном ветру.

– О ja, ja! Gott bewahr!⁵ – залепетала «прислуга» и побежала на лестницу.

– Ну сто? – начала она, появляясь через минуту назад с растопыренными руками и с неописанным смущением на лице: – один как совсем коцит, а другой совсем не коцит; ну, и сто я зделайть?

Я вышел на подъезд сам. Девочки по-прежнему жались у стенки; черненькая несколько выдавалась вперед, а другая совсем западала за ее плечико.

– Войдите, сделайте милость, к нам, пока перейдет дождик, – сказал я, обращаясь к обоим детям безразлично.

Черненькая взглянула на меня быстро, но ничего не ответила, а по глазам ее видно было, что ей тут очень неловко и что она решительно не прочь бы зйти и пообогреться в комнате.

⁴ О боже мой! Это ужасно! (нем.).

⁵ О да, да! Боже сохрани! (нем.).

– Пожалуйста, зайдите! – повторил я и в эту минуту заметил из-под локтя передней девочки крошечную ручонку, которая беспрестанно теребила и трясла этот локоток соседки изо всей своей силы.

– Мы вам ничего худого не сделаем; нам только жаль, что вы здесь стоите, – обратился я к черненькой и снова заметил, что ручонка ее соседки под ее локотком задергала с удвоенным усердием.

– Она не хочет, а я без нее не могу, – отвечала, краснея и застенчиво улыбаясь, черненькая девочка, и чуть только она произнесла эти слова, как беспокойная ручка, назойливо теребившая ее локоток, отпала и юркнула под мокрую черную тальму.

– Как вам не стыдно бояться!

– Я ничего не боюсь, – чуть слышно прошептала задняя девочка и в ту же секунду тронулась с места; черненькая тоже пошла за нею, и обе рядышком они вступили в мои апартаменты, которые, впрочем, выглядывали очень уютно и даже комфортно, особенно со входа с непогожего надворья. Впрочем, теперешний вид моего жилья очень много выигрывал оттого, что предупредительная Эрнестина Крестьяновна в одну минуту развела в камине самый яркий, трескучий огонек.

Завидя в передней гостей, «прислуга» моя выбежала уточкой и начала около них кататься, стаскивая с них мокрые тальмы и шляпы, встряхивая их юбочки и обтирая их козловые сапожки.

Через минуту гости, держась рука за руку, робко вступили в мою зальцу и, пройдя три шага от двери, тотчас сделали мне самый милый книксен.

– Пожалуйста сюда, к камину, – попросил я их в кабинет.

Девочки двинулись вперед, снова держась рука за руку, и, оглянувшись по новой комнате, обе стали у огня.

– Садитесь, – попросил я их, пододвигая им два кресла.

Девочки вместе поклонились, очень оригинально уселись вдвоем на одном кресле, расправили юбочки и сушили ножки.

– А я сейчас будить горячий кофе давай, – радостно объявила Эрнестина Крестьяновна и уплыла в кухню.

Я стал себе свертывать папироску и молча рассматривал моих гостей. Обе они были не девочки и не девушки, а среднее между тем и другим, как говорят – *подросточки*. Черненькой на вид было лет пятнадцать, и правильные, тонкие черты ее лица обещали из нее со временем что-то очень красивое; но это должно было случиться, когда линии лица протянутся до назначенных им точек и живые краски юности расцветят детскую смуглость нежной, тонкой кожи. Другая, которая, стоя в коридоре, все западала за свою подругу, была совсем в ином роде: по росту и сложению ей можно было дать лет тринадцать, а по лбу и бровям гораздо более, чем ее подруге. Эта девочка была некрасивая и никогда не обещавшая быть красавицей, но вся она была какое-то счастливейшее сочетание ума, грации и прелести. Фигурка ее была необыкновенно стройная, такая «миньонная», волосы тонкие, легкие, светло-пепельного цвета; носик строгий, губки довольно полные; правильно оканчивающийся подбородок и удивительной тонкости и белизны шейка, напоминающая красивую и гибкую шейку цыцарки. Но всего замечательней в этом лице были глаза, эти окна души, как их называли поэты, – окна, в которые внутренний человек смотрит на свет из своего футляра. Большие бирюзовые глаза эти были непременно очень близоруки. Это заключение возникло у меня вследствие того, что девочка при каждом относящемся к ней вопросе поворачивалась к говорящему всем телом, выдвигала несколько вперед головку и мило щурила свои глазки, чтобы лучше разглядеть того, кто говорил с нею. Ничего в мире нет мудренее и неразгаданнее таких близоруких глаз. Можно подумать, что они долго глядят не видя ничего, кроме света, и вдруг сосредоточатся на чем-

нибудь одним, взглянут глубоко и тотчас же спрячутся за свои таинственные ресницы, точно робкие серны, убегающие за нагорные сосны.

Замечают, что большинство близоруких людей бывают очень мечтательны и что у них весьма часто бывает сильно развита фантазия. Может быть, в этом замечании есть своя доля правды.

В то время, когда я, рассматривая моих гостей, предавался всем этим соображениям, «прислуга» вошла и поставила на стол поднос с тремя чашками горячего кофе.

– Фрейлейн, битте зер, тринкен зи шнеллер кафе,⁶ – пригласила Эрнестина Крестьяновна.

Черненькая девочка толкнула слегка локотком пепельную блондинку, и обе ни с места.

Я встал и подал им кофе.

– Ах, поставьте, мы возьмем сами, – отвечала, конфузясь, брюнетка.

Она встала, отряхнула начинавшие высыхать юбочки и, подойдя к столу, кликнула:

– Маньхен!

– Мм! – отозвалась Маньхен и, полуборотясь, прищурила глазки.

– Бери же! – произнесла, продолжая беспрестанно меняться в лице, чернушка.

Маня еще прищурилась, пока рассмотрела стоящий на столе кофе и торопливо отвечала по-немецки:

– Ich danke sehr, Klara; ich will nicht.⁷

– Отчего же вы не хотите согреться? – спросил я как сумел ласковее.

– Благодарю вас, – отвечала чистым русским языком Маня.

– Вы церемонитесь?

– Нет... я... не озябла.

– Чашка кофе все-таки вам не повредит.

Маня опять прищурила глазки, встала и, слегка покачиваясь на своих ножках, подошла к столику.

Теперь я рассмотрел, что платья обеих девушек были не совсем коротенькие, но на подъеме так, что все их полусапожки и даже с полвершка беленьких чулочек были открыты. Дождь на дворе не прекращался; ветер сердито рвал в каминной трубе и ударял в окна целыми потоками крупного ливня; а вдалеке где-то грянул гром и раскатился по небу.

– Гром! – проговорила Маня.

– Да, а вы боитесь грома?

– Я? Да, я боюсь грома; а моя мама... Ида... Они знают, что я боюсь.

– Хотите, мы пошлем сказать, чтобы о вас не беспокоились? Далеко вы живете?

– Вот тут, всего через две линии; тут магазин наш, магазин Норк.

Я отвечал, что знаю, где их магазин.

– Но посылать, пожалуйста, не надо.

– Нет, нет, не надо, как можно! – заговорила она, увидя, что я хотел повернуться к кухне.

– Нет, прошу вас, пожалуйста, не посылайте бедную старушку.

Я вызвался сходить сам.

– Ах, нет, пожалуйста, не надо!

– Но ваши будут беспокоиться.

– Нет, пожалуйста... Они догадаются, что мы с Кларинькой куда-нибудь зашли. Теперь я вспомнила, что они подумают, что мы ждем в школе.

Сколько я ни старался уговоривать Маньхен, она ни за что не соглашалась ни пустить меня по дождю, ни послать «бедную старушку».

⁶ Барышни, пожалуйста, пейте скорей кофе (нем.).

⁷ Большое спасибо, Клара; я не хочу (нем.).

А погода действительно разыгралась во всю свою финскую мочь; все небо заволочло черною, свинцовою тучею; удары грома катились быстрее и непосредственнее вслед за скользившими зигзагами молнии.

– Маня, сколько здесь книг! – сказала из угла, стоя у моего книжного шкафа, Кларинька.

Маня сощурила глазки и, держа в зубках отломленный кусочек сухарика, наклонила головку вперед по голосу Клары.

– Где? – спросила она очень внимательно и необыкновенно тихо.

– Вот целый шкаф.

Маня так и пошла к шкафу с чашкою в руках и кусочком сухарика между зубками.

– Вы любите книги? – спросил я, подходя вслед за нею к шкафу.

– Да, я люблю, – уронила она едва слышно.

– Сколько их тут! – удивлялась Клара.

Маня воззрилась в корешки книг, как газель в лесную чащу; сухарик так по-прежнему оставался неразгрызенный в ее зубках.

– Вы много читаете? – спросил я Клару.

– Я? Нет; я так читаю... когда захочется; а она всегда читает.

– Маньхен! – добавила она, – посмотри, целый Пушкин.

Маня передвинулась молча и опять стала глядеть в переплеты; я не сводил глаз с ее живых, то щурившихся, то широко раскрывающихся глаз и бледного, прозрачного личика.

Она читала названья книг с такою жадностью, как будто кушала какой-нибудь сладкий запрещенный плод, и читала не одними глазами, а всем своим существом. Это видно было по ее окаменевшим ручкам, по ее вытянутой шейке, по ее губкам, которые хотя не двигались сами, но около которых, под тонкой кожей, что-то шевелилось, как гусеница.

Так прошло семь или восемь минут. Маня все стояла у шкафа, и червячок все ворочался около ее губок, как вдруг раздался страшный удар грома и с треском раскатился по небу. Маня слабо вскрикнула, быстро бросила на пол чашку и, забыв всякую застенчивость, сильно схватилась за мою руку.

Разлетевшаяся вдребезги чашка и зазвеневшая по полу ложечка испугали ее еще более.

– Идти! идти! – прошептала она, схватившись в испуге за мою руку и совсем подбиваясь под мой локоть.

Я не мог понять, что значит ее *идти*, и старался как умел и как мог ее успокоить, но она все тревожилась, вздрагивала, зорко смотрела вперед и каждый раз крепче жалась ко мне при всяком новом ударе.

– Как жаль, что вы так боитесь грома! – начал я, когда гроза утихла и небо стало понемножку светлеть и разъясняться.

Маня молча взглянула на меня, потом на разбитую чашку и пролитый кофе и опять прошептала:

– *Идти*.

– Теперь невозможно идти.

Девушка задумалась.

– Вас, верно, напугал кто-нибудь?

– Н-нет... это так... влияние...

Все существо Мани опять разом выразило, что ей очень тяжело от этого *влияния*, и тоненький червячок снова забегал под кожей около ее губок.

– Идти, – заговорила она, крепко сжимая мою руку, – нужно скорее идти... идти...

Она задрожала и жалась ко мне с выражением ужаса и как будто с мольбой, чтоб я удерживал ее, чтоб не пускал ее куда-то *идти*.

Гроза стихла.

Я ничего не стал расспрашивать Маню об этом, как она называла, «влиянии», и как только немножко распогодилось, оделся и пошел проводить их. Магазин Норк был от моей квартиры в нескольких минутах ходьбы. Мы все втроем перешли это расстояние очень скоро и едва успели взяться за дверную ручку, как в магазине раздался сумасшедший крик, и в одно мгновение Маня совсем исчезла в какой-то необъятной куче светлого ситца. Ситец этот закутывал Маню, шевелился около нее, пожирал ее и издавал слабое, почти мышинное пищание, а вдалеке, где-то комнаты за две, слышалось дерганье, как будто кто-то тянул слабою рукою колодезный цебор. Звуки эти все слышались ближе и ближе, и, наконец, в противоположной двери показалось высокое железное кресло с большими колесами, круглые ободы которых были тщательно обмотаны зеленой суконной покрывкой. На этом кресле, положила руки на ободья колес, сидела сама старость с младенчески шаткой головой и ушедшими в затылок глазами. Темный полосатенький капот и белый чепец, которым была покрыта подъехавшая фигура, слегка тряслись и дрожали. Даже пестрый шотландский плед, закрывавший недвижимые ноги старушки, слегка шевелился.

При появлении этого кресла ситец, поглотивший Маню, заворошился еще сильнее; из него поднялись две красноватые руки, взмахнули на воздухе и опять утонули в складках, а насупротив их показалась пара других, более свежих рук, и эти тоже взмахнули и также исчезли в ситцевой пене. Затем показалась головка Мани, а возле нее, у самых щек, отцветшая женская голова с полуседыми локонами и гладко причесанная белокурая головка девушки, волосы которой громко объявляли о своем ближайшем родстве с волосами Мани. Это были ее мать и сестра Ида, а в дверях на кресле – Манина бабушка.

Мы с девочкой Кларой двое оставались сторонними зрителями этой сцены, и на нас никто не обращал ровно никакого внимания. Маню обнимали, целовали, ощупывали ее платице, волосы, трогали ее за ручки, за шейку, ласково трепали по щечкам и вообще как бы старались удостовериться, не сон ли все это? не привидение ли? действительно ли это она, живая Маня, с своей маленькой и слабою плотью?

Мне очень хотелось уйти и не мешать этой семейной сцене, но в то же время я чувствовал необходимость рассказать в оправдание девушек, где они были и по какому случаю попали ко мне.

– Ах, как мы вас можем благодарить! Я не умею сказать вам, как я вам благодарна, – отвечала мне восторженно Софья Карловна, когда Маня перешла в объятия бабушки, а я наскоро рассказал кое-как всю эту историю.

Софья Карловна непременно просила меня остаться пить чай; она говорила, что сейчас будет ее зять, который уже целый час рыщет с своим знакомым, художником Истоминым, по всему острову, отыскивая везде бедную Маню. Я отказался от чаю и вышел.

Софья Карловна, прощаясь, взяла с меня слово, чтобы я непременно зашел к ним и был бы их хорошим знакомым. Я дал такое слово и сдержал его, даже во втором отношении.

Глава четвертая

На другое утро ко мне зашел незнакомый, очень щеголевато и в то же время очень солидно одетый, плотный, коротко стриженный господин с здоровым смуглым лицом, бархатными бакенбардами и очень хорошими черными глазами. Он назвал себя Фридрихом Шульцем; сказал, что он зять мадам Норк и что пришел поблагодарить меня от тещи и от себя за внимание, оказанное вчера детям. Фридрих Шульц говорил немного, держался с тактом и вообще вел себя человеком выдержанным. В заключение своего короткого визита он выразил надежду, что мы будем знакомы, и мы с ним простились.

Через день после визита, сделанного мне Шульцем, я отправился к Норкам узнать о здоровье Мани. Это было перед вечером. Маня сама отперла мне двери и этим сделала вопрос о ее здоровье почти неуместным, но тем не менее меня все встретили здесь очень радушно, и я очень скоро не только познакомился с семейством Норков, но даже стал в нем почти своим или, по крайней мере, очень близким человеком.

Здесь я должен сделать некоторое, весьма короткое впрочем, отступление для того, чтобы познакомить читателя со всеми лицами семейства Норков в ту именно пору, к которой относится этот рассказ, и при этом показать их чистенькое жилище.

Самым старым лицом здесь была утлая бабушка Норк. Ей было уже семьдесят три года; она была некогда и умна, и красива, и добродетельна; нынче она была просто развалина, но развалина весьма опрятная, не обдававшая ни пылью, ни плесенью и не раздражавшая ничьего уха скрипом железных ставень, которые во всех развалинах так бестолково двигаются из стороны в сторону и несносно скрипят на заржавевших крючьях. У старушки Норк оставалось довольно ума и очень много сердца для того, чтобы любить каждый листочек дерева, выросшего из ее праматеринского лона, и между всеми этими веточками и листочками самым любимым листком старушки была опять-таки та же младшая внучка, Маничка Норк. О Софье Карловне мы знаем достаточно, чтобы не говорить о ней в особенности. Она осталась навсегда доброю матерью и хорошею хозяйкою, но с годами после мужа значительно располнела; горе и заботы провели у нее по лбу две глубокие морщины; а торговые столкновения и расчеты приучили ее лицо к несколько суровому, так сказать суходольному выражению, которое замечается почти у всех женщин, поставленных в необходимость лично вести дела не женского хозяйства. Берта Ивановна Шульц была прежде всего и больше всего красавица, здоровая, свежая, белая, роскошная, очень добрая, угодливая, верная жена, страстно нежная мать и бесценная хозяйка. Лучшим аттестатом семейным добродетелям Берты Ивановны был муж ее, Фридрих Фридрихович Шульц. Всегда практически умный, здоровый и веселый, Фридрих Шульц, в качестве мужа Берты Ивановны, раздобыл еще более; его веселый смех со времени женитьбы стал слышаться еще чаще и громче, а на лице его явилось еще более самоуверенности. В этой самоуверенности, которая лежала на лице Шульца, не было, впрочем, ничего заносчивого и обидного. Только при взгляде на свою жену или при разговоре о ней Фридрих Шульц примешивал к своей безобидной самоуверенности некоторую надменность.

– Ну-ка, – говорило тогда его лицо гостям, угощавшимся у его хлебосольной трапезы, – ну-ка, скажите-ка, мои голубчики, у кого из вас есть такая жена?

– А ни у кого у вас нет такой жены, да и ни у кого не может быть такой жены, – добавляло оно, следя за плававшей лебедью Бертой Ивановной. – А вот посмотрите, какой еще я куплю моей Бертиньке дом – так тоже у вас ни у кого и дома такого никогда не будет.

Ссор и неладов у этого супружества никогда не бывало. Ибо если иногда Берта Ивановна, отягощаясь далеко за полночь заходившими у мужа пирушками, и говорила ему по-немецки: «Лучше бы они, Фриц, пораньше к тебе собирались», то Фридрих Фридрихович обыкновенно

отвечал на это своей жене по-русски: «Эй, Берта Ивановна, смотрите, чтобы мы с вами, мой друг, как-нибудь не поссорились!» – и тем все дело и кончалось.

Ида Ивановна, оставшаяся до сих пор девушкой, была иной человек, чем ее сестра Берта Шульц, и совсем иной, чем сестра ее Маня. Ида была очень недурна собой. Рост у нее был прекрасный и фигура очень стройная, так что, глядя сзади на ее роскошные плечи, гибкую талию и грациозную шейку, на которой была грациозно поставлена пропорциональная головка, обремененная густейшими русыми волосами, можно было держать пари, что перед вами женщина, не раз заставлявшая усиленно биться не одно мужское сердце; но стоило Иде Ивановне повернуться к вам своим милым и даже, пожалуй, красивым лицом, и вы сейчас же спешили взять назад составившееся у вас на этот счет предположение. У Иды Ивановны был высокий, строгий профиль, почти без кровинки во всем лице; открытый, благородный лоб ее был просто прекрасен, но его ледяное спокойствие действовало как-то очень странно; оно не говорило: «оставь надежду навсегда», но говорило: «прошу на благородную дистанцию!» Небольшой тонкий нос Иды Ивановны шел как нельзя более под стать ее холодному лбу; широко расставленные глубокие серые глаза смотрели умно и добро, но немножко иронически; а в бледных щеках и несколько узеньком подбородке было много какой-то пассивной силы, силы терпения. В губах у старшей девицы Норк было нечто общее с Манею, но это *нечто* и здесь было совершенно неуловимо. Оно и здесь тоже совсем не принадлежало самим устам Иды Ивановны, а это именно был опять такой же червячок, который шевелился, пробегал по ее верхней губе и снова скрывался где-то, не то в крови, не то в воздухе.

Самые уста Иды Ивановны были необыкновенно странны: это не были тонкие бледные губы, постоянно ропщущие на свое малокровие; это не был пунцовый ротик, протестующий против спокойного величия стального лица живых особ, напрасно носящих холодную маску Дианы. Уста Иды были в меру живы и в меру красны; но и опять вы почему-то понимали, что они никогда никого не поцелуют иным поцелуем, как поцелуем родственной любви и дружбы. Оставив пансион, Ида Ивановна на другой же день поставила себе стул за прилавок магазина и сделалась самой усердной и самой полезной помощницей своей матери. Софья Карловна не ставила Иду Ивановну никому в пример и даже не так, может быть, нежно любила ее, как Маню, но зато высоко ее уважала и скоро привыкла ничего не предпринимать и ни на что не решаться без совета Иды. О том, что Ида Ивановна тоже девушка, что она тоже может кого-нибудь полюбить и выйти замуж, в семье Норк, кажется, никто не подумал ни одного раза. Даже практическому Шульцу, относившемуся к свояченицам и к теще с самым горячим участием, и ему сдавалось, что Ида совсем что-то такое, так собственно и рожденное исключительно для семьи Норков и имеющее здесь, в этой семье, свое вековечное место. Есть такие странные девушки, так уже вот и прикрепленные на всю жизнь свою к родимой семье. Так это на них и знаменуется: взглянешь и сейчас это видишь. Таких девушек очень часто приходится встречать в нашем сельском духовенстве и особенно много их в благовоспитанных семьях небогатых петербургских немцев. Чуть не с колыбели какая-то роковая судьба обрекает их в хранительниц родительской старости да в няньки сестриных детей, и этот оброк так верно исполняется ими до гроба. Они делаются *крепкими* своему положению до того, что упасть, или немножко пошатнуться, или скользнуть, хотя немножечко, одной ногою, для них уж невозможно. Не знаю, надобно ли к этому уж прямо родиться или можно себя приучить жить для таких целей, но знаю, что такова была именно Ида, хотя на прекрасном лице ее и не было написано: «навек оставь надежду». Печать иная почивала на этом облике: вам верить ей хотелось все, что вам мило и дорого на свете, и ваше внутреннее чувство вам за нее клялось, что ни соблазн любовных слов, ни золото, ни почести, ни диадема королевы врасплох ее застать не могут и не возьмут ее в осаду. Око ее было светло, сердце чисто.

В заключение упомяну еще о подмастерье Германе Вермане, который сам себя не отделял от семейства Норков и которого грех было бы отделить от него в этом рассказе.

Герман Верман был небольшой, очень коренастый старик, с угловатой головою и густыми черными, с проседью, волосами, которые все называли *дикими* и по которым Ида Ивановна самого Вермана прозвала Соважем.⁸ Соваж был старик честнейший и добрейший, хороший мастер и хороший пьяница. По наружности он более был похож на француза, чем на немца, а по нраву на англичанина; но в существе он был все-таки немец, и самый строгий немец.

Жили Норки в небольшом деревянном доме на углу одной из ближайших линий и Большого проспекта, дома которого, как известно, имеют вдоль фасадов довольно густые и тенистые садики, делающие проспект едва ли не самую приятную улицу не только острова, но и всего Петербурга. В пяти окнах, выходивших на линию, у Норков помещался магазин и мастерская, в которой жил и работал с учениками Герман Верман. Жилые комнаты (которых считом было четыре) все выходили окнами в густой садик по Большому проспекту. Здесь, тотчас влево от магазина, была большая, очень хорошо меблированная зала, с занавесками, вязанными руками Иды Ивановны, с мебелью, покрытою белыми чехлами, и с хорошим фортепьяно. Далее шла маленькая гостиная для коротких друзей. Это просто был кусок спальни Софьи Карловны, отделенный красивыми ширмами красного дерева и установленный мягкою голубою мебелью. За ширмами была самая спальня. Другие две комнаты, выходившие окнами на двор, отделялись от двух первых широким, светлым коридором. В углу коридора, совершенно в сторонке, была комната бабушки, а прямо против импровизированной гостиной – большая и очень хорошая комната Иды и Мани. Комната эта была их спальнею, и тут же стояли два маленькие письменные столика. Далее, в конце коридора, сейчас за комнатою девиц, была кухня, имевшая посредством особого коридорчика сообщение с мастерскою, где жил Герман Верман; а из кухни на двор шел особый черный ход с деревянным крыльчком.

Квартира эта по улице была в первом этаже, но со стороны двора под нею был еще устроен невысокий полуэтаж, и как раз под одним из окон девиц выходило крыльцо этого полуэтажа, покрытое широким навесом кровельного железа.

Жило семейство Норков как нельзя тише и скромнее. Кроме каких-то двух старушек и пастора Абея, у них запросто не бывал никто. С выходом замуж Берты Ивановны, которая поселилась с своим мужем через два дома от матери, ежедневным их посетителем сделался зять. Шульц вместе с женою навещал тещину семью аккуратно каждый вечер и был настоящим их семьянином и сыном Софьи Карловны. Потом в доме их, по известному читателям случаю, появился я, и в тот же день, вслед за моим выходом, Шульц привез художника Истомина.

Художник Роман Прокофьевич Истомина еще очень незадолго перед этим событием выделился из ряда своих товарищей одною весьма талантливою работою, давшею ему сразу имя, деньги, знакомства многих великих мира сего и расположение множества женщин. Все это вместе взятое, с одной стороны, делало Истомина уже в то время лицом довольно интересным, а с другой – снабжало его кучею врагов и завистников, которых всегда так легко приобретает себе всякое дарование не только в среде собратий по профессии, но и вообще у всего мещанствующего разума, живо чувствующего бессилие своей практической лошади перед огненным конем таланта. Талантливости Истомина не отвергал никто, но одни находили, что талантливость эта все-таки не имеет того значения, которое придают ей; другие утверждали, что талант Истомина сам по себе велик, но что он принимает ложное направление; что деньги и покровительства губят его, а в это время Истомина вышел в свет с другою работою, показавшею, что талант его не губится ни знакомствами, ни деньгами, и его завистники обратились в злейших его врагов. Истомину шла удача за удачею в жизни и необыкновенное счастье в любви. У него бывали любовницы во всех общественных слоях, начиная с академических натурщиц до... ну, да до самых неприступных Диан и грандесс, покровительствующих искусствам. Последнее обстоятельство имело на художественную натуру Истомина свое неотразимое влияние. Кра-

⁸ Дикарем (франц.)

сивое, часто дышавшее истинным вдохновением и страстью, лицо Истомина стало дерзким, вызывающим и надменным; назло своим врагам и завистникам он начал выставлять на вид и напоказ все выгоды своего положения – квартиру свою он обратил в самую роскошную студию, одевался богато, жил весело, о женщинах говорил нехотя, с гримасами, пренебрежительно и всегда цинически.

Я слышал об Истомине много хорошего и еще больше худого, но сам никогда не видал его. Известно мне было, что он существует, что он едва ли не один из самых замечательных молодых талантов в академии, что он идет в гору – и только. Знал я также, что Истомин состоит в приятельских отношениях с Фридрихом Шульцем, а от Иды Ивановны слышал, что Шульц вообще страстный охотник водить знакомство с знаменитостями и потому ухаживает за Истоминным.

– Это ахиллесова пята нашего Фрица, – шутила Ида.

Только я и знал об Истомине. В доме Норков со дня своего первого посещения он не был ни разу, да и нечего было ему здесь и делать в этой тихой, скромнейшей семье.

Глава пятая

Сблизясь с семейством Норков, я, разумеется, познакомился ближе и с Фридрихом Шульцем. Человек этот, как я уже сказал выше, с первой же встречи показался мне образцом самой хорошей порядочности, но... бог его знает, что в нем было такое, что как-то не располагало к нему и не влекло. Фридрих Фридрихович был и хлебосол и человек не только готовый на всякую послугу, но даже напрашивавшийся на нее; он и патриотизму русскому льстил, стараясь как нельзя более во всем русить; и за дела его можно было только уважать его, а все-таки он как-то не располагал человека искренно в свою пользу. Определительно в нем чувствовался недостаток простоты, благоуханно почивавшей в воздухе, которым дышало семейство Норков. Зайдешь, бывало, к Фридриху Фридриховичу – он встречает радушно: «Добро пожаловать! – кричит, бывало, еще чуть ногу на порог переставишь. – Проходите, батюшка, к моей бабе, а я тут с людишками поразверстаюсь», – докончит он, указывая на стоящих артельщиков. Кажется, будто и чистосердечно, и приветливо, и просто, а чувствуешь, что нет во всем этом ни чистосердечия, ни простоты, ни приветия. Пойдешь к Берте Ивановне – та тоже встретит с улыбкой, с вечно одинаковой, доброй улыбкой; расскажет, что ее Фриц совсем измучился; что они ездили вчера смотреть Газе и что Газе в Лудовике, по ее мнению, гораздо лучше, чем в Кромвеле, а что о Раабе и о Гюварт, право, гораздо больше говорят, чем они заслуживают. Но и от этой доброй улыбки Берты Ивановны и от этих ее рассказов не согревается душа и не теплеет на сердце. Проболтаешь с полчаса, входит Фридрих Фридрихович, отдуется, упадет с видом утомления на диван и, разгладив бархатные бакенбарды, начинает:

– А у меня, милостивец мой, опять какой мудреный крендель нынче завернулся. Тут, прости меня господи, с этой ерундой с своей не можешь никак себя хорошенько сообразить, а вчера только приезжаю, застаю повестку, что молодые Коровниковы выпросили меня себе попечителем. Ну помилуйте, скажите, что это такое?! Ведь это же, наконец, наказание! «Разве мало, говорю, у вас, господа, своих русских? Найдется, чай, довольно охотников мильонным состоянием опекать». Нет, свое твердят: «Мы вас, Фридрих Фридрихович!» – «Да что, говорю, вас! кислый квас! Что такое неправда за *меня*? что я, в самом деле, за такое особенное? ведь я, говорю, господа, немец, шпрехензидейч, Иван Андрейч, колбасник!» Нет, опять свое: *вы да мы, мы да вы*, да и давай целоваться. Ну, что вы тут с таким народом прикажете разговаривать?

Поставит, бывало, Фридрих Фридрихович в самое неприятное положение таким, совершенно, впрочем, правдивейшим, рассказом и смотрит в глаза, пока ему сочинишь какую-нибудь любезность. Впрочем, если он заметит, что уж вы очень затрудняетесь, то, не дожидаясь ответа, крикнет:

– Бертинька! а ну, дай нам, матушка, что-нибудь такое позабавиться.

И из комнаты Берты Ивановны тотчас же появляется поднос с холодной закуской, графинчиком Doppel-corn,⁹ бутылкой хересу и бутылкой портеру.

– Без соли, без хлеба – худая беседа. Наш брат, русский человек, любит почавкать, – начинает Фридрих Фридрихович, давая вам чувствовать, что когда он десять минут назад называл себя немецким человеком, то это он шутил, а что, в самом-то деле, он-то и есть настоящий русский человек, и вслед за этой оговоркой Шульц заводит за хлебом-солью беседу, в которой уж гостю приходится только молчать и слушать Фридриха Фридриховича со всяческим, впрочем, правом хвалить его ум, его добродетель, его честность, его жену, его лошадь, его мебель, его хлеб-соль и его сигары.

У Норков же было совершенно иное. Проходишь, бывало, через магазин – Ида Ивановна чаще всего стоит с каким-нибудь покупателем и продает ему папиросную машинку или салат-

⁹ Доппель-корн – то есть водка из хлебных злаков (нем.).

ную ложку; поклонись, проходя, как попало Иде, она кивнет головою, тоже чуть заметно, и по-прежнему ведет свое дело с покупателем. Придешь в залу – никого нет, но все смотрит так приветно: и фортепиано и закрытая чехлами мебель как будто говорят вам: «Здравствуйте-с! просим покорно садиться». Вы и садитесь. Так именно было со мною в третье посещение Норков. Я прошел мимо Иды Ивановны, стоявшей в магазине, и сел, не зная, что мне делать, но чувствуя, что мне совсем здесь хорошо и ловко.

Через две или три минуты Ида Ивановна сбыла с рук покупателя и показалась в зале. Выйдя из магазина, она в обеих руках держала по ломтю спелой дыни, посыпанной сахаром.

– Нехорошая дыня, – сказала она, протягивая мне ломтик в своей тонкой белой руке, и в то же время сама начала другой.

– Нет, ничего, – отвечал я, отдавая дыни.

– Водянистая; нынче лето такое гадкое, все фрукты какие-то водянистые.

– А что ваша сестра?

– Маня? Она все возится с вашими книгами.

– А я ей еще принес.

Ида Ивановна покачала головой и выговорила:

– Вы нам ее совсем испортите. Подите к ней, если хотите, в ее комнату.

– Можно?

– Отчего же? Там убрано. Я одна тут; мне нельзя отойти от магазина; мамы нет дома, а бабушка уж закатилась и спит.

Я поблагодарил и коридорчиком прошел к комнате Иды и Мани.

– Войдите, – сказала Маня, когда я второй раз постучался у ее двери.

Я застал Маню, сидевшую на окне, с которого до половины была сдвинута синяя тафтяная занавеска. На коленях у Мани лежала моя книга.

– Здравствуйте! – сказала она, щурясь и осторожно спуская на пол свои крошечные ножки. – А я так и думала, что это вы.

– Отчего же это вы так думали?

– Так... читала и как-то про вас вспомнила, а вы и пришли. Садитесь.

Я сел. Маня выбежала на минуту и вернулась с пепельницею, сигарою и спичками.

– Курите, – сказала она, ставя предо мною спички и подавая мне сигару.

Я поблагодарил.

– Это Фрицева сигара: он всегда хорошие сигары курит; вы попробуйте.

Я взял сигару и закурил: сигара точно оказалась очень хорошою.

– Довольны вы книгою? – начал я, чтобы с чего-нибудь начать.

– Да, – отвечала торопливо Маня. – Это так по-русски; такое... действительное.

– Вы любите более действительное?

Девушка задумалась.

– Я много читала, – начала она тихо, – но вы меня не спрашивайте. Я все читаю. Это вот хорошая книга, – продолжала она, указывая на мой томик «Записок охотника», – нравится мне, а я не могу рассказать почему... Так, какое-то влияние такое... Жаль прочесть скоро. А другие книги читаешь... даже спешишь. Так читаешь...

Маня махнула ручкой.

– Без влияния?

Девушка смотрела на меня долго и, пожав плечиками, сказала:

– Я не знаю, право, какое ж другое слово?

Мне стало стыдно своей попытки слегка подтронуть над Маней.

– Видите, – говорила она, робея и потупляя глазки, – Шиллера, Гете, Ауэрбаха – все это я брала у Фрица; все кое-как знаю; и еще разные там книги у него брала... а это новое совсем, и такое понятное... как самой будто все это хочется почувствовать: ведь это ж влияние значит?

– Вы знаете, – говорила она мне, прощаясь, – вы не думайте, что мои родные в самом деле сердятся, что я читаю книги. Фриц сказал, что ваши книги мне всегда можно читать, и мама мне тоже позволила.

– Очень рад, – отвечал я и ушел, пожав ей ручку.

Фридрих Фридрихович, значит, ко мне благоволил, и я дал себе слово дорожить этим благоволением для Мани.

Так прошло нашему знакомству, надо полагать, месяца три или четыре. В это время я познакомился у Шульца с несколькими знаменитостями, впрочем не первой руки, – и, между прочим, с Романом Прокофьевичем Истоминым. При всех предубеждениях против этого человека он мне очень понравился. Кроме таланта, выразительной наружности и довольно редкой в русском художественном кружке образованности, к нему влекла его хорошая, страстная речь, гордое пренебрежение к врагам и завистникам и смелая, твердая решимость, соединенная (когда он хотел этого) с утонченнейшей мягкостью и теплотой обращения. Я на Романа Прокофьевича тоже, кажется, произвел впечатление довольно выгодное, и со второго или третьего свидания мы стали держать себя по отношению друг к другу добрыми приятелями. Это еще не решено, да и вряд ли когда-нибудь будет решено, почему с одним человеком почти ни с того ни с сего легко сходишься, сам того не замечая, а с другим ни от того ни от сего, при всех усилиях сойтись, никак не сойдешься. Почти совершенно друг друга путем не зная и не ведая, сошлись мы с Романом Прокофьевичем так, что вдруг очутились на одной квартире. Он напал случайно на очень хороший бельэтаж небольшого домика; в этом бельэтаже приходилось по три одиноких комнаты со сторон и посередине необыкновенно изящный круглый зал, оклеенный темно-синими парижскими обоями с широким золотым карнизом. Я взял себе три комнатки налево, а Роман Прокофьевич три комнаты направо да этот очаровательный зал под мастерскую. Дверь из зала на мою половину заперли, завесили синим сукном, и зажали мы с Истоминым, сходясь часто, но никогда не мешая друг другу не вовремя. Ко всему этому для меня было большой находкой, что Истомин, часто, и не заходя ко мне из-за своей стены, рассеивал налегавшую на меня тоску одиночества музыкою, которую он очень любил и в которой знал толк, хотя никогда ею не занимался путем, а играл на своем маленьком звучном пианино так, сам для себя, и сам для себя пел очень недурно, даже довольно трудные вещи.

Живя в таком близком соседстве, я, против всякого желания, убедился, что Истомин действительно был женским кумиром. Минуту, кажется, трудно было улучшить такую, когда б у него не была в гостях какая-нибудь женщина, и все это были женщины комифотные – «дамы сильных страстей и густых вуалей». Невольно слышал я из-за моих дверей и нежные ласки, и страстные, кровь кипящие вздохи, и бешеные взрывы ревности, и опасения, и страхи, и те ехидные слова, которыми страсть оправдывает себя перед рассудком, и привык я ко всему этому очень скоро и на все это не обращал давно никакого внимания.

– Я очень часто слышу, любезный Истомин, что говорят ваши дамы, – раз или два намекал я моему соседу.

– Нельзя же, голубчик, без этого – надо же им где-нибудь и поговорить, – отвечал он мне, словно не понимая моего намека.

Так мы и жили. К нам обоим заходил иногда Фриц Фрицевич (так звал Шульца Истомин), и мы частенько навещали Фрица Фрицевича. Навещая нас, бездомников, Фридрих Фридрихович являлся человеком самым простодушным и беспретендательным: все ему, бывало, хорошо, что ни подашь; все ловко, где его ни посадишь. Зайдя же ко мне второй раз, он прямо спросил:

– А не пьют ли у вас в деревне в это время водки?

– Извините, – говорю, – Фридрих Фридрихович, водка есть, но закусить, кажется, нечем.

– Ну, что там, – отвечает, – за закуска еще; истинные таланты не закусывают. А вы вот, – говорит, – поаккомпанируйте-ка!

Я опять извиняюсь; говорю:

– Рано, не могу утром пить.

– Ну, да я, впрочем, солист, – отвечал Шульц и спокойно выпил вторую рюмку.

Таков он был и всегда и во всем, и я и Истомин держались с ним без всякой церемонии. К Норкам Истомин не ходил, и не тянуло его туда. Только нужно же было случиться такому греху, что попал он, наконец, в эту семью и что на общее горе-злосчастие его туда потянуло.

Об этом теперь и наступает повествование.

Глава шестая

Раз, вскоре как стала зима, сижу я у себя и работаю. Вдруг, этак часу в первом, слышу звонок. Является моя «прислуга» и шепчет:

– Там один какой-то дама вас спрашивать.

Выхожу я – смотрю, Ида Ивановна сидит на диване и улыбается, а возле нее картонный ящик и большущий сверток в толстой синей бумаге.

– Здравствуйте! – говорит Ида Ивановна. – Устала я до смерти.

– Кофе, – говорю, – чашечку хотите?

– А крепкий, – спрашивает, – у вас кофе варят?

– Какой хотите сварят.

– Ну, так дайте; только самого крепкого.

«Прислуга» моя захлопотала.

– А ведь я к вам это как попала? – начала с своим обыкновенным спокойствием Ида Ивановна. – Я вот контрабанды накупила и боюсь нести домой, чтоб не попасться с нею кому не следует. К Берте зайти еще пуще боюсь, чтобы не встретиться. Пусть это все у вас постоит.

– Извольте, – говорю, – с радостью.

– Нет, в самом деле, это не то что контрабанда, а разные, знаете, такие финти-фанты, которые надо сберечь, чтоб их пока не увидели дома. Дайте-ка мне какой-нибудь ящик в вашем комод; я сама все это хорошенько уложу своими руками, а то вы все перемнете.

Я очистил ящик; Ида Ивановна все в него береженько положила.

– Вы знаете, что это такое? – начала она, садясь за кофе. – Это здесь платьице, мантилька и разные такие вещицы для Мани. Ведь через четыре дня ее рождение; ей шестнадцать лет будет – первое совершеннолетие; ну, так мы готовим ей сюрпризы, и я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о моем подарке. Я нарочно даже чужой модистке заказывала. Вы тоже смотрите, пожалуйста, не проговоритесь.

– Нет, зачем же!

– То-то: зачем! Это всегда так, ни за чем делается. Я тогда утром пришлю девушку, вы ей все это и отдайте.

– Хорошо-с, – говорю, – Ида Ивановна, – и тотчас, как проводил ее за двери, отправился на Невский, взял новое издание Пушкина и отдал его Миллеру переплесть в голубой атлас со всякими приличными украшениями и с вытисненным именем Марии Норк.

Вечером в тот же день я зашел к Норкам и застал в магазине одну Иду Ивановну.

– Послушайте-ка! – позвала она меня к себе. – Вот умора-то! Бабушка посылала Вермана купить канарейку с клеткой, и этот Соваж таки протащил ей эту клетку так, что никто ее не видал; бабушка теперь ни одной души не пускает к себе в комнату, а канарейка трещит на весь дом, и Манька-плутовка догадывается, на что эта канарейка. Преуморительно.

– Да чего это, – говорю, – Ида Ивановна, так уж очень со всем этим секретничаете?

– Ах, как же? Ведь уж если все это делать, то надо сюрпризом! Неужто ж вы не понимаете, что это сюрпризом надо?

При всем желании Иды Ивановны ничем не нарушать обыденный порядок весь дом Норков точно приготовлялся к какому-то торжественному священнодействию. Маня замечала это, но делала вид, что ничего не понимает, краснела, тупила в землю глаза и безвыходно сидела в своей комнате.

Наступил, наконец, и долгожданный день совершеннолетия. Девушка Иды Ивановны ранехонько явилась ко мне за оставленными вещами, я отдал их и побежал за своим Пушкиным. Книжки были сделаны. Часов в десять я вернулся домой, чтобы переодеться и идти к Нор-

кам. Когда я был уже почти совсем готов, ко мне зашел Шульц. В руках у него была длинная цилиндрическая картонка и небольшой сверток.

– Посмотрите-ка, отец родной! – сказал он, вытаскивая из картонки огромную соболью муфту с белым атласным подбоем и большими шелковыми кистями.

– Прелесть, – произнес я, погладив рукою муфту.

Фридрих Фридрихович подул против шерсти на то место, где прошла моя рука, и, встряхнув муфту, опустил ее снова в картонку.

– А эта-с штукенция? – запытал он, раскатав дорогой собольей же воротник, совсем уж готовый и настегаанный на шелковую подкладку.

– Хорошо.

– Оцените?

– Рублей триста.

– Пятьсот!

– Очень хорошо.

– А Бертинька повезла этакую бархатную нынешнюю шубку на гагачьем пуху; знаете, какие нынче делают, с этакой кружевной пелериной. Понимаете, ее и осенью можно носить с кружевом, и зимой: пристегнула вот этот воротничкишко – вот и зимняя вещь. Хитра голь на выдумки; Правда? – воскликнул он, самодовольно улыбнувшись и ударив меня фамильярно по плечу.

– Да это все кому же?

– Да Маньке же, Маньке! – Шульц переменил голос и вдруг заговорил тоном особенно мягким и серьезным: – Ведь что ж, правду сказать, нужно в самом деле, как говорится, соблюдать не одну же форменность.

Где это и при каких это случаях *говорится*, что «нужно соблюдать не одну форменность», – это осталось секретом Фридриха Фридриховича. Он очевидно цацкался передо мною с своими дорогими подарками и, попросив меня одеваться поскорее, понес свои коробки к Истомину.

Через пять или десять минут я застал их с Истоминным, рассуждавших о чем-то необыкновенно весело. Рядом с муфтою Мани на диване лежала другая муфта, несколько поношенная, но несравненно более дорогая и роскошная.

– Эта, ваше степенство, не по нашим капиталам, – говорил Фридрих Фридрихович, выводя пальцем эсы по чужой муфте, которая, видимо, сбילה с него изрядную долю самообожания. – Какие ручки, однако, должны носить эту муфту?

– Ручки весьма изрядные, – отвечал, тщательно повязывая перед зеркалом галстук, Истомин. – Насчет этих ручек есть даже некоторый анекдот, – добавил он, повернувшись к Шульцу. – У этой барыни муж дорогого стоит. У него руки совсем мацерированные: по двадцати раз в день их моет; сам ни за что почти не берет, руки никому не подает без перчатки и уверяет всех, что и жена его не может дотронуться ни до чьей руки.

Фридрих Фридрихович вдруг так и залился счастливейшим смехом.

– Ну что ж, он ведь и прав! Муж-то, я говорю, он ведь и прав! – взвизгивал Фридрих Фридрихович. – Она ведь за *руки* только не может трогаться.

Я видел в зеркало, как Истомин, снова взявшийся за свой галстук, тоже самодовольно улыбнулся.

– Понюхайте-ка, – сказал, завидя меня и поднимая муфту, Фридрих Фридрихович, – чем, сударь, это пахнет?

Не понимая в чем дело, я поднес муфту к лицу. Она пахла теми тонкими английскими духами, которые, по словам одной моей знакомой дамы, сообщают всему *запах счастья*.

– Счастьем пахнет, – отвечал я, кладя на стол муфту.

– Да-с, вот какие у Романа Прокофьича бывают гости, что все от них счастьем пахнет.

Шульц опять расхохотался.

– А позвольте-ка, господа, лучше прибрать это счастье к месту, – проговорил Истомин, – сравнили, и будет ею любоваться, а то чего доброго... ее тоже, пожалуй, кое-кто знает.

– Ну-с! так во поход пошли гусары? – спросил Шульц, видя, что Истомин совсем готов.

Я взял мою шляпу и мои книги, обернутые яркою цветною бумагою.

– Тоже подарок? – спросил Шульц.

Я отвечал утвердительно.

Истомин остановился посреди комнаты.

– Что ж это, господа? – заговорил он. – Ведь это уж нехорошо: все вы с подарками, а я с пустыми руками.

– Ну, ничего! что там еще за подарки! Вы нечаянный гость; я скажу, что утащил вас насильно, – убеждал его Фридрих Фридрихович.

– Да! да позвольте-ка-с еще! У меня и у самого сейчас найдется для нее подарок, – воскликнул Роман Прокофьич и, торопливо вытащив из-за мольберта один из стоявших там запыленных картонов, вырезал из него прихотливый, неправильный овал, обернул этот кусок бумагою, и мы вышли. Не знаю почему, но мне было ужасно неприятно, что Истомин, после этого цинического разговора о дамской муфте, идет в дом Норков, да еще вместе с нами, и в этот святой для целого семейства день совершеннолетия Мани. Тем, кто знаком с предчувствиями, я могу сказать, что у меня были самые гадкие предчувствия, и они усилились еще более, когда перед нами отворилась дверь в залу и от стены, у которой стояло бабушкино кресло и сидело несколько родных и сторонних особ, отделилась навстречу нам фигура Мани, беленькая и легонькая, как морская пена.

Я никогда не забуду всех мельчайших подробностей здешней картины, навсегда запечатлевшейся в моей памяти.

Вся зала была обновлена в это самое утро. Обновление ее состояло в том, что на окнах были повешены новые занавесы; с фортепиано была снята клеенка, бронзовые канделябры были освобождены из окутывавшей их целый год кисеи, и обитые голубым рипсом стулья и кресла нескромно сбросили с себя свои коленкоровые сорочки. Кроме того, почти во всю залу (она же и гостиная) был разостлан огромный английский ковер, принесенный с собою в приданое еще бабушкой. Вдоль одной стены, прямо против двери, на своем подвижном кресле сидела сама бабушка. Старушка была одета в белом пикейном капоте с множеством кружевных обшивок и кругленькими, похожими на горошинки, беленькими же пуговками. На старческой голове бабушки был высокий полуфламандский чепчик с туго накрахмаленными оборками и полосатыми лентами, желтой и ранжевой. Рядом с креслом старушки, в другом кресле, помещался пастор Абель в длинном черном сюртуке и белом галстуке. Возле пастора сидела мадам Норк, тоже в белом платье и с натуральными седыми буклями; у плеча мадам Норк стоял Герман Верман, умытый, вычищенный и долго чесавшийся, но непричесанный, потому что его «дикие» волосы ни за что не хотели ложиться и топорщились по обыкновению во все стороны. На Германе Вермане был светло-коричневый фрак, белый жилет, очень кургузые синие панталоны и красный галстук, едва схватывавший крупнейшие тугие полисоны немилосердно накрахмаленной манишки. Далее сидела Ида Ивановна, Берта Шульц, булочница Шперлинг и ее дочь, наша старая знакомая, подруга Мани, Клара Шперлинг. Кроме пастора и Вермана, все решительно были одеты во все белое, а черненькая Клара Шперлинг смотрела настоящей мухой в сметане.

Маня стояла между бабушкой и пастором, который говорил ей что-то такое, что девушку, видимо, приводило в состояние некоторой ажитации, а у ее старой бабушки выдавливало слезы.

При нашем появлении в дверях пастор и бабушка разом освободили ручки Мани, и девушка, заколыхавшись как кусок белой пены, вышла навстречу нам на середину комнаты.

Далее Шульц не пустил ее. Он поднял торжественно перед собою ладонь и дал почувствовать, что сейчас начнется что-то такое, требующее благоговейшей тишины и внимания.

С этим он кашлянул, поднял на Маню самый официальный взгляд и произнес:

– Сестра!

– Тес! – пронеслось по зале; впрочем, и без того никто не нарушал ни малейшей тишины.

– Приветствую тебя в этот торжественный день твоей жизни! – начал Шульц тоном и дикцией проповедника. – Приветствую тебя не как ребенка, а как женщину – как человека, который отныне получает в обществе свои права и принимает свои обязанности перед семьей и перед обществом. Дай бог... (пастор, а за ним и все присутствующие при слове «бог» поднялись с мест и стали. Шульц продолжал еще торжественней...) Дай бог, повторяю я, преданнейший слуга и брат твой, усердно моля за тебя умершего на кресте спасителя, чтобы все великие и святые обязанности женщины стали для тебя ясны, как ясно это солнце, освещающее дорогой для всех нас день твоего совершеннолетия (солнце ярко и весело смотрело в окна через невысокие деревья палисадника). Дай бог, чтобы зло и неправда человеческая бежали от тебя, как тьма бежит от лучей этого солнца! *Honestus rumor alterum patrimonium est* – говорит мудрая латинская пословица, то есть: хорошая репутация заменяет наследство; а потому более всего желаю тебе, чтобы в твоём лице и мы и все, кто тебя встретит в жизни, видели повторение добродетелей твоей высокопочтенной бабушки, твоего честного отца, душа которого теперь присутствует здесь с нами (Софья Карловна заморгала глазами и заплакала), твоей матери, взлелеявшей и воспитавшей своими неусыпными трудами и тебя и сестер твоих, из которых одной я обязан всем моим счастьем! (Берта Ивановна заплакала; Шульц подошел, поцеловал руку жены, тоже отер слезу и закончил.) Девица Мария Норк! дорогая новорожденная сестра наша, прими наше братское приветствие и осчастливь себя и нас воспитанием в себе тех высоких качеств, которых мы вправе ждать от твоего прекрасного сердца.

Произнеся эту, всеконечно заранее обдуманную речь, Фридрих Шульц вдруг стал на колени, взял Маню за обе руки и сильно растроганным голосом, в котором в самом деле дрожали искренние слезы, проговорил:

– Матушка! Машуточка! Утешь-оправдай на себе нашу родную русскую пословицу, что «от яблоньки яблочко недалеко катится!»

Шульц взял и поклонился Мане в ноги, веско ударив лбом в пол.

Маня быстро опустила, схватила зятя за плечи и оба вместе поднялись на ноги.

Фридрих Фридрихович поцеловал ее в губы и потом еще раз поцеловал одну за другою обе ее руки.

Я подошел и в замешательстве тоже поцеловал Манину руку. Маня, у которой глаза давно были полны слез, смешалась еще более, и рука ее дрогнула. За мною в ту же минуту подошел Истомин, сказал что-то весьма почтительное и смело взял и также поцеловал руку Мани. Девушка совсем переконфузилась и пошатнулась на месте.

На ее счастье, Шульц, который в это время успел уже обмахнуть голубым фуляром свои панталоны и лацкан фрака, сказал:

– Позволь, матушка, отдать тебе на память об этом дне вот эти безделушки.

Он вынул муфту и воротник и, подавая их Мане, добавил:

– Пусть это будет дополнением к подарку сестры твоей Берты.

– На что так много? – заговорила Маня, потерянно глядя во все стороны и прикладывая к пылающим щекам свои ручки.

– Марья Ивановна! – позвольте мне просить вас принять и от меня на память вот это, – сказал я, подавая ей пять томов Пушкина.

Маня прищурила глазки, взглянула на переплет, протянула мне обе ручки и отвечала:

– Благодарю вас: я возьму.

– А я, Марья Ивановна, не знал, что сегодня день вашего рождения и что я вас увижу нынче, – начал Истомин. – Я принес вам то, что у меня было дома, и вы тоже будете так снисходительны – возьмете это от меня на память о моем знакомстве с вами и о вашем совершеннолети.

Истомин сбросил с картона бумагу и подал его Мане; та взглянула и зарделась.

Все мы подошли к картону и все остановились в изумлении и восторге. Это был кусок прелестнейшего этюда, приготовленного Истоминим для своей новой картины, о которой уже многие знали и говорили, но которой до сих пор никто не видал, потому что при каждом появлении посетителей, допускаясь в мастерскую художника, его мольберт с подмалеванным холстом упорно поворачивался к стене.

На поднесенном Мане куске картона, величиною более полуаршина, была молодая русалка, в первый раз всплывшая над водою. Этюд был писан в три тона. Русалка, впервые вынырнувшая со дна речки, прыгнула на сонный берег, где дикий тмин растет и где цветут, качаясь, фиалки возле буквиц. Вся она была целомудренно закрыта тмином, сквозь стебли которого только кое-где чуть-чуть очерчивались свежие контуры ее тела. Одна голова с плечами любопытно выставлялась вперед и внимательно смотрела удивленными глазами на неведомый для нее надводный мир. Никакое другое искусство, кроме живописи, не могло так выразить всего, что выражала эта восхитительная головка. Любопытство, ужас, восторг и болезненная тревога – все это разом выступало на этих сломанных бровках, полуоткрытом ротике, прищуренных глазках и побледневших щеках. Но всего более поразило всех в этой головке какое-то странное, наводящее ужас сходство русалки с Манею. Это не был верный голбейновский портрет и не эффектная головка Греза: это было что-то такое... как будто случайное сходство, как бы портрет с двойника, или как будто это она. Маня, но в лунатизме, что ли, или в каком-то непонятном для нас восторженном состоянии.

– Она впервые видит свет. По мифологии, у них тоже есть совершеннолетие, до которого молодая русалка не может всплыть над водою, – начал мягко и приятно рассказывать Истомин. – Это очень поэтический славянский миф. Вообразите себе, что она до известных там лет своей жизни жила в кристальных палатах на дне реки; слыхала там о кораблях, о бурях, о людях, о их любви, ненависти, о горе. Она плавала в глубине, видала, как в воду опускается столб лунного света, слышала на берегах шум другой жизни; над головою ее пробегали корабли, отрезавшие лунный свет от дна речного; но она ничего, решительно ничего не видала, кроме того, что там есть у них под водою. Она знает, что ее мать когда-то утонула оттого, что был когда-то человек, который любил ее, потом разлюбил, «покинул и на женщине женился»; но как все это там? что там такое? какие это живые люди? как там, над водою, дышат? как любят и покидают? – все это ей совершенно непонятно. И вот ее совершеннолетие исполнилось; здесь вы видите, как она только что всплыла; надводный воздух остро режет ее непривычное тело, и в груди ей больно от этого воздуха, а между тем все, что перед нею открылось, поражает ее; вдруг все это, что понималось смутно, уясняется; все начинает ей говорить своим языком, и она... Видите... Здесь, на этом куске, впрочем, нет этого, а там – на целой картине тут влево резвятся другие русалки, хохотуши, щекотуши – все молодые, красивые... Одна из них слышит, что

Птичка под кустами
Встрепенулася во мгле...

Другая шепчет:

Между месяцем и нами
Кто-то ходит по земле...

А эта вся... одна, закрывшись диким тмином, в сто глаз и столько же ушей все слушает, все видит; и не птичка, не тот, кто ходит где-то по земле, а *все, все разом* оковало ее, и вот она, вы видите, какая! Не знаю, впрочем, сумел ли я хоть плохо передать холсту, что думал и что хотелось бы сказать этой картиной чувству, – закончил тихо Истомин, осторожно поставив картон на свободное кресло.

Истомин был очень хорош в эту минуту. Если бы здесь было несколько женщин, впечатлительных и способных увлекаться, мне кажется, они все вдруг полюбили бы его. Это был художник-творец, в самом обаятельном значении этого слова. Фридрих Фридрихович, глядя на него, пришел в неподдельный художественный восторг. Он схватил обе руки Истомина, сжал их и, глядя ему в глаза, проговорил с жаром:

– Вы будете велики! Вы будете нашею гордостью; вы будете славою русского искусства!

Истомин покраснел, обнял Шульца и торопливо отошел к окошку, и – чудо чудное! на глазах его вдруг мелькнули первые слезы.

Черт его знает, до чего он становился прекрасен в этом расстройстве!

Я подошел к окну и стал рядом с Истоминным.

– Дьявол бы совсем взял эту глупость! – начал он мне на ухо, стараясь в то же время сморгнуть и утереть свою слезу. – Выдумать еще надо что-нибудь глупее, как прийти на семейный праздник для того, чтобы поздравить девушку и вдруг самому напроситься на общее внимание!

Истомин нетерпеливо дернул зубами уголок своего платка и сунул его сердито в карман фрака.

Он был совершенно прав. О Мане и ее празднестве совершенно забыли. Все столпились около этюда, который теперь держал в руках пастор Абель. Даже старушка-бабушка взялась руками за колеса своего кресла и поехала, чтобы соединиться с прочими у картины. Пастор Абель держал картину в одной левой руке и, сильно откинувшись головою назад, рассматривал ее с чинной улыбкой аугсбургского исповедания; все другие жались около пасторовых плеч, а выехавшая бабушка зазирала сбоку. Однако старушке было очень хорошо видно картину, потому что она первая заговорила:

– Aber warum?..¹⁰ как она совсем выглядит похожа на Маньхен!

Все в одну минуту оглянулись на Маню, которая стояла на своем прежнем месте и смотрела на Истомина, вытягивая вперед голову, точно хотела сейчас тронуться и подбежать к нему.

– Есть сходство, – произнес с достоинством пастор.

– Совсем Маня! – подтвердила с восклицанием Ида Ивановна.

– Роман Прокофьич! Зачем это такое сходство? Ведь это не нарочно писано; я сам видел, как вы вырезали этот кусок из целого картона, – заговорил Фридрих Фридрихович.

Истомин обернулся, закинув назад рассыпавшиеся черные кудри, и, делая шаг к сгруппировавшейся семье, сказал:

– Это?.. это художественная вольность, которую вы должны простить мне и которую никто не вправе поставить нам ни в суд, ни в осуждение. Фантазия сама по себе все-таки фантазия человеческая; она слаба и ничтожна перед осуществленною фантазиею природы, перед натурою. Я очень долго бился с этой головкой, и она мне все не удавалась. Для таких лиц нет много натурщиц. Наши натурщицы все слишком обыкновенные лица, а остановить первую встречную женщину, которая подходит под ваш образ, слишком романтично, и ни одна не пойдет. Настолько нет ни в ком сочувствия к искусству. В тот именно день, когда, помните, Марья Ивановна в бурю долго не приходила домой и когда мы ее искали, я в первый раз увидел ее головку и... это была именно та головка, которой мне не доставало для картины.

¹⁰ Но почему? (нем.).

– Зачем же вы ее, мой голубчик, вырезали-то? – говорил с добродушным упреком Фридрих Фридрихович.

– А что-с?

– Да ведь она ж нужна вам.

– Я теперь сто раз кряду нарисую вам ее на память, – отвечал небрежно Истомин.

– Только она что-то, знаете, как будто... изменена в чем-то.

– Да, выражение, конечно... Это делает масса новых впечатлений, которые охватывают ее... Это так и нужно.

– И есть что-то страшное, – заметила бабушка.

– Да-да, именно страшное есть, – утверждал пастор, вертя мизинцем свободной руки над бликами, падавшими на нос и освещенную луной щеку русалки.

– Гм! наша Маньхен попадает на историческую картину, которую будут восхищаться десятки тысяч людей... Бог знает, может быть даже и целые поколения! – воскликнул весело Фридрих Фридрихович, оглядываясь на Маню, которая только повернулась на ногах и опять стояла на том месте, не сводя глаз с Истомина.

– Извольте, фрейлен Мария, вашу картину, – произнес пастор, подавая ей картину.

Маня взяла этюд и, зардевшись, сделала Истомину полудетский книксен.

– Нет, господа, уж потрудитесь ваши подарки сами положить на ее совершеннолетний столик, – попросила нас Софья Карловна.

– Пожалуйте! – позвала она, подходя к двери своей крошечной гостиной.

Мы все довольно торжественно прошли с своими приношениями через маленькую гостиную и коридорчик и вступили в комнату новорожденной. Комната эта была вся освежена и глядела олицетворением девственного праздника Мани. На окнах были новые белые кисейные занавески с пышными оборками наверху и с такими же буфами у подвязей; посередине окна, ближе к ясеновой кровати Мани, на длинной медной проволоке висела металлическая клетка, в которой порхала подаренная бабушкой желтенькая канарейка; весь угол комнаты, в котором стояла кровать, был драпирован новым голубым французским ситцем, и над этою драпировкою, в самом угле, склоняясь на Манино изголовье, висело большое черное распятие с вырезанною из слоновой кости белою фигурою Христа. Вся девственная постелька Мани, ничем, впрочем, не отличавшаяся от постели Иды Ивановны, была бела как кипень, и в головах ее стоял небольшой стол, весь сверху донизу обделанный белою кисеею с буфами, оборками и широкими розовыми лентами по углам. На этом столе посредине помещался на большом подносе очень хороший торт с латинскими буквами М и N. Около торта размещались принесенные сегодня пастором: немецкая библия в зеленом переплете с золотым обрезаем; большой красный дорогой стакан с гравированным видом Мюнхена и на нем, на белой ниточке, чья-то карточка; рабочая корзиночка с бумажкою, на которой было написано «Клара Шперлинг», и, наконец, необыкновенно искусно сделанный швейцарский домик с слюдовыми окнами, балкончиками, дверьми, загородами и камнями на крыше. На чистом липовом ящике, из которого домик этот был вынут и в который он снова мог вдвигаться, на дощечке было тщательно выписано имя Германа Вермана, а ниже год, месяц и число настоящего празднества. Рядом с этим белым столом стоял роскошный, ажурный рабочий столик, отделанный внутри зеленою тафтою. Это был подарок матери. На этом столике лежало бархатное пальто, принесенное Бертой Ивановной, и сюда же Шульц положил собольевый воротник и муфту. Я положил сочинения Пушкина к стене на белом столике, а Истомин поставил на эти книги свою картину.

– Какая прекрасная работа! – сказал он, рассматривая деревянный швейцарский домик.

– Это наш добрый Герман сделал, – отвечала ему Софья Карловна.

– Прелестная, замечательная работа! – продолжал Истомин, обращаясь к Герману.

Тот заложил большой палец правой руки в петлю своего коричневого фрака и поклонился Истомину с достоинством.

Пастор, Ида и все, кроме бабушки, были в этой комнате, и целой компанией все снова возвратились в залу, где нас ждал кофе, русский пирог с дичинным фаршем и полный завтрак со множеством всякого вина. Софья Карловна беспрестанно выбегала и суетилась, Маня сидела возле бабушки; Берта Ивановна усердно кушала, держа как-то на отлете оба тоненькие мизинца своих маленьких белых ручек. Мужчины все ели очень прилежно, но Ида Ивановна все-таки наблюдала за ними и, стоя у стола, беспрестанно подкладывала то тому, то другому новые порции.

– Ешьте, – говорила она мне, кладя второй кусок очень вкусной рыбы.

– Полноте, Ида Ивановна! не могу никак, – отпрашивался у нее я.

– Ешьте-ка, ешьте, – отвечала она с вечным своим спокойствием, не принимая от меня никаких оправданий. С другими она поступала совершенно так же, только вместо фамильярного *ешьте* на все их отговорки тихо отвечала им *кушайте*.

– Не выбрасывать же стать, – шепнул я ей возле ее локтя.

Ида Ивановна с едва заметной улыбкой толкнула меня в плечо и опять потащила кому-то новый кусок жаркого.

Фридрих Фридрихович не уступал свояченице: как она угощала всех яствами, так он еще усерднее наливал гостей то тем, то другим вином. Даже когда пустые блюда совсем сошли со стола и половина Маничкиного торта была проглочена с шампанским, Фридрих Фридрихович и тогда все-таки не давал нам отдыха.

– Позвольте, господа, – говорил он, не выпуская никого из-за стола. – Это все требуется непременно допить.

– Помилуйте, Фридрих Фридрихович, куда же нам еще пить! – отмаливались гости ввиду целых трех бутылок шампанского с подрезанными проволоками у пробок.

– Нет, позвольте! Это совсем невозможно так оставлять, – убеждал Фридрих Фридрихович. – Открытую бутылку нельзя оставлять в хозяйстве. Это, во-первых, значит, зло оставлять, а потом от этого, наконец, прислуга балуется.

– Пожалуйте-ка, – относился он, приближая горлышко бутылки к стакану пастора.

– О, их кан ниht, либер гер¹¹ Шульц! – отмаливался пастор.

– Ничего, господин пастор, ничего; это вас подкрепит, – убеждал Шульц и, дополнив стакан его аугсбургского преподобия, относился с теми же доводами к другим.

– Это вас подкрепит, – говорил он, упрямо заставляя нас непременно допить все, и прибавлял: – Пожалуйста, господа! пожалуйста, потрудитесь! пожалуйста, прошу вас, чтоб после нас люди не баловались.

Пастор, отстрадав, стукнул пустым стаканом и отдулся, а Шульц наступал на него снова, приглашая выпить «в пользу детских приютов».

– Капли не выпью больше, господин Шульц, – отказывался пастор.

– В пользу детских приютов-то, господин пастор?

– Ни за что, господин Шульц.

– В пользу детских приютов ни за что?

– О mein Gott!¹² – вздыхал сдававшийся на сильные доводы пастор.

Шульц налил ему стакан и внушительно заметил, что в пользу детских приютов и думать нельзя отказываться.

И в пользу детских приютов было действительно допито все так, что людям после нас уж не над чем было баловаться.

Вино решительно на всех оказало свое, пока, впрочем, только хорошее влияние. Все сделались сердечнее и веселее.

¹¹ О, я не могу, дорогой господин (нем.).

¹² О боже мой! (нем.).

Истомин, вставши из-за стола, отнесся с большими комплиментами к Верману.

– О, помилуйте! – сконфузился старый токарь, по-прежнему стараясь усмирить свои торчащие волосы.

– Я вам говорю не любезность, а я вам говорю просто, что я не видал такой легкой и отчетливой работы; это просто художественная... прекрасная вещь, – настаивал Истомин.

– Ню, что это? Это, так будем мы смотреть, совсем как настоящая безделица. Что говорить о мне? Вот вы! вы артист, вы художник! вы можете – ви загт ман дизе!..¹³ *творить!* А мы, мы люди... мы простой *ремесленник*. Мы совсем не одно... Я чувствую, как это, что есть очень, что очень прекрасно; я все это могу очень прекрасно понимать... но я шары на бильярды делать умею! Вот мое искусство!

Истомин с неподдельным жаром взял Вермана за обе руки и, привлекая его к себе, сказал:

¹³ Как это говорится? (нем.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.